

Константин Шевцов

ВОСПОМИНАНИЕ КАК ИСТОЛКОВАНИЕ ПРОШЛОГО¹

1. Мы вспоминаем о памяти, когда что-либо забываем, в остальное время полагаясь на ее молчаливую работу и полностью доверяя ей. Естественно предположить, что проблема памяти, которая вызывает интерес гуманитарных наук в последние несколько десятилетий, свидетельствует о замешательстве забвения как о своеобразном состоянии этих дисциплин. По известному выражению Пьера Нора, «о памяти столько говорят только потому, что ее больше нет»². Поскольку речь идет о конце институтов и идеологий памяти, обеспечивавших трансляцию и наследование прошлого, то, очевидно, вопрос стоит о представительстве памяти, о некоем праве на разъяснение и проговаривание того, что совершается как тайна превращений прошлого и настоящего. Как будто нам важно знать, что за надежным хранением прошлого, за молчаливым сплавом по течению времени есть место для особого свидетельства, невысказанной речи памяти. Но разве память сообщает о чем-либо, помимо прошлого? Допустим, так и есть, и в этом случае стоит спросить, возможно ли сегодня говорить о смысле прошлого и, следовательно, о памяти как форме различения и удержания этого смысла? Чтобы наметить ответ на этот вопрос, мы ограничимся той формой памяти, которая и составляет явление прошлого, а именно воспоминанием, и попытаемся ответить на три вопроса, касающихся именно воспоминания: как прошлое является в нем в качестве отличной от настоящего модальности существования; можно ли представить воспоминание как речь со свойственными ей способами

¹ Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-10162), СПбГУ.

² Нора П. Проблематика мест памяти // Франция – память. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С. 17.

выражения; что представляется субъектом этой речи, центром ее особых значимостей.

2. Беспамятство современности, о котором пишет Нора, превращает прошлое в неразрешимую проблему, хаос иного, вторгающийся в космос настоящего, как призрак насилия и несправедливости, будь то история колонизации, гонения национальных и сексуальных меньшинств, эксплуатация женщин или насилие над детьми. В ночных кошмарах прошлого в какой-то мере отражается беспаятство самой историографии, в которой бывшее мыслится как принципиально иное время, почти иная форма жизни, вносящая разрыв в наш собственный опыт времени¹. Конечно, говоря о беспаятстве, не имеют в виду фактического отрицания таких институтов, как церковь, школа, библиотека, архив или музей. Кажется, наоборот, избыток культурной памяти делает непрозрачным и непонятным усвоение прошлого или превращение настоящего в прошлое, перегружая каждый новый момент невыносимым грузом не пережитого и не отпущенного прошедшего, как погребает под собой память борхесовского Фунеса, отнимая у него сперва движение, а затем и жизнь.

В практической жизни действие памяти кажется гораздо более прозрачным и понятным. Здесь прошлое сказывается как причина и условие действия, как принятое обязательство или поставленная цель; в конце концов, каждый момент настоящего становится прошлым, обучая простым правилам чтения знаков и сопоставления следов ушедшего. Иначе обстоит с воспоминанием прошедшего. И в самом деле, зачем, наследуя умершему, вводить его снова в настоящее, предоставляя место собственному конкуренту? Ян Ассман утверждает, что смерть создает форму прошлого и побуждает к памяти как долгу перед умершими². Но рядом с благоговейным поминанием умерших, свойственным «помнящим культурам», есть и другое отношение к мертвым, связанное со страхом и стремлением забыть все, что способно потревожить призрак прошлого³. Иначе говоря, важен как опыт смерти, так и возможность вглядываться в прошлое через перегородку забвения. Клод Леви-Стросс рассказывает, что у индейцев фокс во время церемонии усыновления проводятся ритуальные игры, в которых выигрывает команда, представленная кланом, усыновляющим ребенка, а побежденным считается тот, кого представляет команда соперника – мертвый родитель как главный

¹ Ср.: «Прошлое дано нам как радикально иное, оно – это тот мир, от которого мы отрезаны навсегда. И в выявлении всей протяженности, которая нас отделяет от прошлого, наша память обретает свою истинность, но именно эта операция ее тут же подавляет <...> Вся динамика наших отношений с прошлым заключена в тонкой игре недостижимого и уничтоженного» (Нора П. Проблематика мест памяти. С. 36).

² Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 34.

³ Примеры подобного отношения к мертвым в изобилии собраны З. Фрейдом в «Тотеме и табу»: Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет. Кн. 1. Тбилиси: Мерани, 1991. С. 251.

соперник живого усыновителя¹. Эта игра реализует двойную стратегию памяти: распознать мертвого в облике живого, чтобы отпустить его, отделить настоящее от прошлого и тем самым освободить его для живых. Смерть разделяет с другим, но прошлое – не только форма смерти и разделения; это игра со смертью, позволяющая обживать границу живого и мертвого, обустривать ее как место встречи и сообщения с Другим. Можно сказать, что воспоминание прошлого наделяет возможностью смотреть через смерть благодаря забвению того, что делает смерть несовместимой с жизнью. Вот почему поминовение мертвых нельзя назвать образцовым воспоминанием, но в связи с ним можно говорить об установке памяти, открывающей различные возможности распознавать прошлое в живом настоящем.

Смерть близкого разрушает основание, на котором держится привычный мир, грозит подчинить себе жизнь, затянуть настоящее в воронку прошлого. По сути, вопрос о представлении прошлого в настоящем решается в зависимости от способа, каким потеря компенсируется и замещается в настоящем, какой временный выигрыш она дает в игре со смертью. Бессмысленно искать единую форму такого представления, оно должно быть, по крайней мере, столь же многообразным, сколь и цели, которым оно служит в настоящем, и действия, в которые включено; но стоит спросить, не есть ли как раз многообразие подобных представлений единственным в своем роде способом удерживать прошлое, существенной возможностью расплести и заново сплести границы настоящего в сеть образов и знаков, прямых либо отложенных сцеплений с прошедшим? Лишь такая сеть могла бы служить не только ритуальным, но также виртуальным, внутренним телом прошлого, готовым уплотниться в воспоминании и снова рассеяться, освобождая место новому опыту, сопровождая тенью озабоченное сознание настоящего.

В воспоминании прошедшее приходит как образ, посмертная маска, которая проводит границу, разделяет прошлое и настоящее. Предполагается, что образ дает точную копию оригинала, а обладание ею свидетельствует о господстве над процессом изменения, рождения и утраты, а значит и, о праве на наследство, оставленное ушедшими. Однако образ – это еще не воспоминание, поскольку, как показывает в «Повторении» Кьеркегор, само воспоминание есть также и утрата, бегство из настоящего; мы вспоминаем настоящее, когда оно еще не прошло, как прошлое для будущего, а стоит ему пройти, не можем помнить, не требуя при этом повторения ушедшего, иначе образ останется всего лишь призраком, ложной претензией на прошлое. Пусть повторение утраченного невозможно, абсурдно, как требование Иова, оно одно дает нам право свидетельствовать о прошлом. Что же значит потерять нечто и вернуться к тому же самому, пусть и прошлому? Как сохраняется чувство «того же»? Случайное впечатление, вкус или запах могут вернуть утраченное время, забытое ощущение других людей и самого себя. Но узнается оно как «то самое»,

¹ *Левин-Стросс К.* Первобытное мышление. М.: Республика, 1994. С. 139.

поскольку изначально вместило в себя другие ощущения, действия и слова, которые пробуждаются теперь вместе с забытым вкусом, запахом. В действительности возвращается не тот же запах или вкус, но та же возможность вместить одно в другом, быть местом, собирающим различное во встрече. Лишь это место и есть то, что является в воспоминании, – всегда предшествующее, уступающее, прошлое, партнер всех партий, разыгрываемых настоящим.

3. Образом прошлого очерчиваются границы места, предоставленного настоящему. Обычно это – отражение и след другого, некая парадигма, образец для подражания; в этом, по существу, весь смысл платоновского анамнесиса как протовоспоминания, которое возвращает душу к Тожественному, наделяя соразмерным ей местом в движении неба и строе других душ. По-видимому, ориентация в пространстве соприродна памяти, будь то память человека или животного, но вопрос ставится не о памяти вообще, а о воспоминании, а именно о том, как в этой памяти места явлено прошлое. Передвижение в пространстве, освоение его границ и маршрутов приучает к взгляду со стороны, видению себя видящим, то есть в буквальном смысле – наследованию себя в пространстве, которое само присваивается как неотъемлемая часть этого наследства. В известной мере таким передвижением вдоль границ места является любой акт восприятия. Что мы чувствуем, когда проводим рукой по поверхности вещи? Прежде всего, сама рука становится поверхностью, на которую своим воздействием указывает вещь, и уже в этом указании прочитывается ее форма и свойства. Тем самым рожденное в восприятии тело воспринимается не только как место регистрации воздействий, но и как способ различения *до* и *после*, предустановленных границ тела и изменяющихся очертаний внешнего пространства, открытого действию и присвоению.

Жак Лакан говорил, что взгляд субъекта – это лишь пятно, которое размещается во взгляде Другого, в его всеобъемлющем свете. Речь идет о знаке изначальной нехватки, желания быть, иметь тело, которое присваивается лишь как образ во взглядах других людей, в зеркальном отражении, в указаниях вещей. Поэтому различие *до* и *после* впервые устанавливается как различие чужого и своего взгляда, места тела, его границ и его игры, его действия, в котором чужой взгляд отодвигается в пространстве вплоть до границы уже невидимого, неразличимого. Мы вспоминаем не тогда, когда рисуем картины прошлого; уже различие восприятия и воспринятого делает шаг к воспоминанию, воспроизведению усилия, вкладывающего в восприятие вещи историю знакомства с ней, присутствия под ее опережающим взглядом. Так, при взгляде на нечеткое изображение может привлечь внимание уплотнение тени, сгущение цвета в одной его части, и этот почти беспредметный интерес вдруг превращается в событие видимого пространства, в определенность рисунка, позволяющую разглядеть в сгущении тени очертание глаз и, наконец, выражение взгляда, обращенного сразу из настоящего и прошлого, не вспоминаемого, но памятного места настоящего.

То, что мы называем настоящим, не совпадает с моментом непосредственного переживания, события, действия тела, его взаимодействия с другими телами. Настоящее – парадоксальная мера, ибо, как предполагается, оно охватывает бесконечность всего существующего в каждый момент. Вещи напоминают о своих скрытых сторонах, обращенных к другим вещам, невидимым или вовсе неизвестным, которые наполняют пространство настоящего на равных правах с воспринимающим и действующим телом. Стоит пройтись по улице, чтобы поток машин и прохожих стал реальностью настоящего и оставался ею, когда прогулка уже в прошлом, и шум улицы затих за стенами дома. Поднимая на поверхность настоящего пространство бесчисленных вещей и событий, прошедшее проглядывает в каждой складке этой поверхности как возможность проявления невидимого. Пройденный путь опознается не во внешней прибавке прошлого, а в облике знакомых вещей и мест, которые мы вспоминаем, когда видим или еще только приближаемся к ним. И точно так же наше собственное тело оборачивается одновременно пространством настоящего и прошлого, ощущения себя и «памяти боков, колен, плеч», направляющей в путь к утраченному времени.

Поскольку быть своим прошлым значит изменяться и лишь становиться тем, кто ты есть, воспоминание прошлого оказывается единственной в своем роде мерой становления, способом быть-в-другом, распознавать присутствие другого в очертаниях настоящего. И в этом смысле воспоминание являет собой не только образ прошлого, но и внутренний язык, способный различать в формах пространства знаки чужого присутствия; на это обращает внимание Гегель в «Философии духа», считая, что в языке память находит свое истинное осуществление, становится «внутренним внешним» духа, последним рубежом на пути к мышлению. Это значит, что доверие к памяти уходит к истокам языка и доверия к своему Другому, к обуславливающей внутреннюю речь возможности быть-в-другом, в прошлом и будущем, в признании предков и потомков.

Гегель считает возможным преодолеть единичность чувственного во всеобщности духа, превратить материю в тонкую грань означающего, историю мира – в воспоминание и осознание Духом самого себя. Тем самым речь воспоминания должна сомкнуться с логосом истории. Однако вне этой завершенности речь воспоминания не совпадает с принудительной системой значений, оставаясь вольной, идиосинкратической формой языка, свидетельствующей о разнообразии возможностей быть настоящим, прошлым и будущим. В «Различии и повторении» Жиль Делёз выделяет три типа повторения, три типа ритмов, с помощью которых настоящее коммуницирует с прошлым и будущим. В первом случае прошлое воспроизводится в настоящем неосознанно, как работает доведенная до автоматизма привычка; повторение второго типа обратно первому и представляет собой отражение настоящего в прошлом, являясь собственно повторением воспоминания в смысле чистого воспоминания «Материи и памяти» Бергсона; третий тип повторения выстраивается вокруг рождения и смерти как события будущего в настоящем.

Три повторения Делёза – идеальные типы соотношения прошлого и настоящего, в действительности всегда сплетенные в единство воспоминания как единство речи, отмечающей присутствие в настоящем прошлого и будущего.

Первое повторение распознается как метонимический ритм переносов значения, позволяющий воспроизводить в новом настоящем освоенные в прошлом привычки и навыки существования, а также запускать это воспроизведение в обратную сторону, вычитывая в очертаниях настоящего следы прошедшего, заключая от наличных следствий к отсутствующим причинам, от видимых фрагментов к невидимому целому. Карло Гинзбург охарактеризовал подобный тип мышления и памяти как «уликовую парадигму», связывая с ней в числе прочего зарождение искусства рассказа, а с ним и самой истории¹. Метонимическим является, по сути, отношение действия и предмета, изменение расстановки предметов, которое превращается в память места; такого рода отношение может восприниматься как отношение подобия прошлого и настоящего, действия и его воспроизведения в следствии. В фильме Вернера Херцога «На 10 тысяч лет старше» вождь племени уру-эу в одном из эпизодов вспоминает, как убил семью белых поселенцев, и, чтобы восстановить этот случай в памяти, начинает ходить и размахивать луком. Его жесты не повторяют в точности совершенные действия, но представляют воспоминание, ставшее танцем и песней: тело движется, как живая сцена воспоминания, и вождь, замороженный образами и событиями прошлого, являет собой воплощение второй ритмической модели. В его танце происходит встреча и взаимное уподобление настоящего и прошлого, которое превращает сцену воспоминания в метафору совершенного убийства. Пьер Бурдьё пишет о ритуальных практиках как о виде мнемотехники, обеспечивающей эффективность припоминания взаимным отражением структур различных пространств и метафорическим переносом из одного поля в другое социальных навыков поведения и ориентирования. Способ действия человека, его габитус, воплощающий в себе разнообразие подобных навыков, есть не что иное, как «метафора мира вещей, где последний сам есть не что иное, как бесконечный круг взаимосопоставляемых метафор»².

Взаимное отражение различных миров определяет суть платоновского понимания памяти. Душа должна увидеть свое отражение в облике и речах другого, возлюбленного или учителя, чтобы подняться в припоминании к богу, с которым ее связывает отношение еще более совершенного подобия. Увязывая различия с подобиями, метафора проводит сквозь инаковость становления, позволяя заглянуть в забытое, прошлое, запредельное, и сам дар Мнемозины в конце концов открывается посредством метафоры, чтобы с помощью восковой дощечки

¹ Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы: Морфология и история. Сб. статей. М.: Новое издательство, 2004. С. 197.

² Бурдьё П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001. С. 150.

и отпечатков перстней мы проникли к спрятанным следам прежних жизней и давно минувших эпох. Крайней оппозицией платоновскому взгляду можно считать кантовские формы сосуществования и последовательности, метонимия которых напоминает чистую привычку разума, однако признавая в этих формах пространство и время, Кант превращает их в метафору линии и числа, с помощью которой пытаются удостовериться в реальности внешнего мира и самого себя как «мирового существа»¹.

Роман Якобсон предположил, что метафора и метонимия образуют две оси, вдоль которых развивается речевое событие, сообщение²; мы можем к этому добавить, что и воспоминание как сообщение памяти не обходится без тех же фигур. Есть, впрочем, и важное различие двух сообщений, поскольку в языке мы располагаем знаковым материалом, тогда как воспоминание впервые превращает различные моменты в знаки прошлого. И в этом случае значение метафоры и метонимии определяется не столько построением цепочки сообщения, сколько формированием определенного видения, способного различать в фигурах настоящего возможность игры, представления, разыгранного в присутствии или под взглядом прошлого. Ни метонимия, ни метафора не подчиняют настоящее прошлому или прошлое настоящему; сближая различное, они не снимают его в форме последовательности или подобия, а удерживают, как складку на поверхности, задающую путь воспоминания. Так, по дороге домой можно задуматься, где в прошлый раз свернул с проезжей части, но затем вспоминаешь, как рассматривал этот дом или пробегал взглядом по тому изгибу дороги, и само место направляет воспоминание, предопределяет движение взгляда, способ видеть самого себя на пути из прошлого в настоящее. Этот взгляд воспоминания обладает своеобразной прозрачностью, своего рода чистой значимостью языка памяти, поскольку прошлое вспоминается из настоящего, как из своего будущего, и видится пронизанным будущим, как бы обремененным внутренним событием, в котором каждый момент настоящего приуготовляется к пришествию своего будущего. Согласно легенде, Симонид Кеосский распознает это событие в пространстве трапезной, где веселье пира превращается в хаос обломков и обезображенных тел³, и необходимо пройти через внешнее и чуждое пространство смерти, чтобы вернуть живым похищенные смертью имена погибших, собрать в воспоминании разделенные формы было, есть и будет.

¹ Кант И. Сочинения: в 8 т. Т. 8. М.: Чоро, 1994. С. 657.

² «Речевое событие может развиваться по двум смысловым линиям: одна тема может переходить в другую либо по подобию (сходству), либо по смежности. Для первого случая наиболее подходящим способом обозначения будет термин “ось метафоры”, а для второго – “ось метонимии”, поскольку они находят свое наиболее концентрированное выражение в метафоре и метонимии соответственно» (Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры: Сборник. М.: Прогресс, 1990. С. 126).

³ Цицерон. Эстетика. Трактаты. Речи. Письма. М.: Искусство, 1994. С. 310.

4. В отличие от гегелевского языка памяти, речь воспоминания так и остается неснятой границей единичного и всеобщего, представленной образами, печатями и эмблемами прошлого, значение которых распознается лишь в качестве загадки, ребуса, тайны посвященных, обладающих ключом для чтения шифра. Только подобным образом и может быть присвоено место во взгляде Другого, в тотальности Бытия или в деспотичном порядке Символического. В известной мере к этому подводит лакановская аналитика взгляда, связывая возможность субъективной позиции с применением маски – искусством одновременно прятаться и предьявлять себя, быть слепым пятном в зрелище мира и превращать слепоту в желание вспомнить забытое в этом зрелище присутствие Другого. Использование маски – лишь жест, в который изначально вписана отсрочка, приостановка реального действия¹, и в этом смысле присвоение взгляда у Лакана воспроизводит понимание памяти и видения у Бергсона как отсрочки реакции, затенения естественного света и превращения теней в фон и очертания видимого образа, в равной мере настоящего и прошлого².

Таким образом, жест предстает своеобразным воспоминанием и знаком забытого, загадкой прошлого и ключом к пониманию его, но к этому стоит добавить, что взгляд как первый жест находит для себя особую форму присутствия, место, которым обусловлены все игры масок, демонстрации и сокрытия, прямого действия и бесконечной отсрочки. Чтобы пояснить его значение, стоит обратиться к рассуждению Ролана Барта, в котором прошлое фотографии противопоставляется воспоминанию³. В отличие от разрозненных образов прошлого, фотография воспринимается как укол и рана от укола, завершённое событие «это было», рассекающее поток воспоминаний прямым взглядом ушедшего, Смерти⁴. И все же в этом обескураживающем взгляде прошлого есть некое родство с воспоминанием. Забытое здесь явлено не в чувстве, не в переживании отсроченного возвращения, а в форме непосредственной утраты, которая и есть необходимое условие воспоминания. Вся книга Барта – воспоминание о матери, и то, что завершает ее и превращает фотографию в подлинное воспоминание, является лицом матери, утраченным и обретенным, как само прошлое.

Лицо есть то, что невозможно видеть непосредственно, оно дано лишь в отражениях как форма и условие присутствия в чувственном мире, всегда открытое, незанятое место восприятия. Лицо не видится,

¹ «Что такое жест? Угрожающий жест, к примеру? Это не прерванный на полдороге удар. Приостановка, задержка заложены в нем изначально <...> в качестве жеста он вписывается назад, в прошедшее время» (Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа. Семинары: Кн. XI (1964). М.: Гнозис; Логос, 2004. С. 127).

² Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. М.: Московский клуб, 1992. С. 179.

³ Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. С. 137.

⁴ Там же. С. 140.

а воспроизводится всем видимым и, прежде всего, лицом другого, которое становится важнейшей формой воспоминания, признанием присутствия в мире. В лице другого мир возвращает то, что было утрачено в момент рождения, как будто признавая соизмеримость настоящего в его конечном существовании всей полноте прошедшего и завершенного. Поэтому его можно назвать действительностью воспоминания, своего рода сознанием субъекта памяти. Тожество личности, основанное на памяти, предполагает единичность лица, утраченного и возвращенного другим. В конце концов, стать настоящим не значит переместиться из одного времени в другое, ведь в прошлом мы не остаемся теми, кем были в настоящем. Мы стали настоящими лишь потому, что прошлое в каждый момент было потерей, становлением, а потому и память о прошлом – не более, но и не менее, чем мера иного, избыток видимого, пронизывающий настоящее как взгляд Другого.